

18+

Кристина Богданова

Лето'08

МУЗЫКА СЛОВ

Кристина Богданова

Лето'08. Музыка слов

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57190016

ISBN 9785005121462

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Современная абстрактная поэзия, нежный верлибр, любовная лирика со вкусом лета и запахом моря. Эти тёплые зарисовки обязательно подарят вам вдохновение и внутреннюю тишину! Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Цикл	7
Суть сути	7
Господи Боже	10
В каждом вздохе	12
Рай	14
Свежесть	16
Когда появилась ты	19
К маме	21
Летний озноб	23
Память нельзя отнять	24
Я – здесь	26
Бессмертие	27
Олимп жизни	29
Океаны	31
К Натe	33
Ты	38
Бог 1	40
Лета звон	41
Бабушка и принцесса	42
Бог 2	44
Воронка	46
Кармен	48
Больше никем	50

Однажды	51
Цветы	53
Я не умру	54
Смешной мир	56
Солнце	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Лето'08

Музыка слов

Кристина Богданова

Корректор Сергей Барханов

Дизайнер обложки Евгения Язвенко

© Кристина Богданова, 2020

© Евгения Язвенко, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-0051-2146-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*«Я незаметно на дереве, в листьях,
Наполняю жизнь свою смыслом,
Пряду свою тонкую нить.
Нас очень много на дереве рядом,
И каждый рожден шелкопрядом,
И прядет свою тонкую нить.*

*А моря до краев наполнялись по каплям,
И срослись по песчинкам камни,
Вечность – это, наверно, так долго.
Мне бы только мой крошечный вклад внести,*

*За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шелка» (с).*

Цикл

«Лето'08»

*И иногда, закрывая глаза,
я вижу ту красоту,
которую не облачить ни в одни слова мира.
Стоит только попробовать,
и красота утонет в словах,
так и не сказав миру
о главном.*

Суть сути

И у меня непременно родится твой сын. Как айсберг
в глубине морей,
я выношу его в своем нутре, и под утро буду гладить
по щеке, шептать
«amore mio» впервые по-настоящему. В красоте его
синеньких вен, его
улыбок, взрослых, качелей я буду искать острова
запретных плодов
и вкушать, не боясь Бога. А он, как котенок, будет
мурлыкать и пропускать

сквозь пальцы мои замечанья. Я стану старше и научу
не ранить, а главное —
не раниться, огибая любой север, чужой север, любя
разных и всяких.

Он станет сильнее, чем я, и уже к полудню жизни откроет
мне тайну,

для чего я открывала глаза, искала по темным углам
правду, твой сын,

мой мальчик, любимый мальчик. Когда он дышит во сне,
на кухне

стоят часы, и я боюсь шевелить губами в немом
«крепче», боюсь спугнуть,

разбудить, нарушить завет; он внутри, мой сын, твой
мальчик.

У меня непременно будет он; суть в том, что я вытравлю
в нем свои масти,

оставив почву лучшим побегам, победам его я буду
предпочитать его радость,

и в нежной коже, мраморной коже, следов не оставив,
словно лезвием острой

пики, я нарисую ему счастье. Привет передам из гордой
страны, где люди все вместе,

но каждый сдыхает как может. В рифмах о кафель
в ванной вдребезги распадаться

и срастаться в единый атом, зная, что меня теперь двое;
в твоём сыне я вижу все,

что так хотела видеть в себе, если бы ты был рядом.
А знаешь, он тоже такой же,

словно в нем каждая драма – заранее травма, которой

не хватит места во мне.

Это жестоко; не просто ребенок, а замысел перед Богом и против Бога за все больное,

что было во мне из-за тебя. Когда он дышит во сне, я слышу свой голос, и мне

пятнадцать, и я в платье из синего шелка стою на перекрестке веры и правды и выбираю

веру. Когда он дышит во мне, планета стоит на месте, и я разрастаюсь – меня

вдвое больше; когда он дышит, ты знаешь, счастье – это странное слово, словно забытое

всякой Библией мира, – становится осязаемо. Как скальпель по коже его движения,

я бы боялась за каждое слово его из слов, что лучше не говорить вовсе.

Я бы растила его в нем самом, самым ярким солнцем в своей орбите,

самым честным словом в любой молитве, мой мальчик с косыми глазами, с твоими руками, твой сын. Не от тебя.

Господи Боже

Господи Боже. Тоненькой веткой на алтаре моря, где в волнах стонут дельфины и у прибоя солнце вплетает в русые косы ленты из золота и песка. А тоска. Тоска с каждым годом только светлее. Господи Боже. Камнем по коже мне чертит карту волна за волною. Волна за волною. Сосуды и вены – переплетенье дорог и путей. Во мне, словно платье потуже и голубое, как небо, на шею. На тело. Большим древом во мне прорастет твой лучший побег.

Господь честный. Я падаю в травы и в белых пуантах. На голых скалах танцую тебе. На алтаре. И на меня смотрят звери с больными глазами. Но эти травы, что пахнут домом, все заслоняют. Во взгляде – звоном цветов и московской пыли. Ты знаешь, Боже. Я знаю точно, что лучше вовсе не жить, чем жить с чекою в ладони. Есть две границы – честь и честность, и в каждой из них своя смесь из запахов йода и мирры. А мир на край встает и тонкой лентой, развязанной кем-то, в моем пшеничном проборе рисует твои имена.

Господь вечный. С плеч слетает вуаль. Робким утром меня провожают в путь и машут платками из алого шелка. Из льна и кожи – мой сарафан. Только бы не было нам так больно. Твоим детям. И будь благословен каждый из нас, кто по-

пал в твой плен из тепла и света и назад не оглянулся. Горячим ли летом, бездонным ли морем, в любом доме и под любой крышей этой огромной планеты. Есть крест, который давно не снаружи, а у меня в груди. Господь честный. Пусть как и прежде. Я буду стоять лицом к миру. Прошу, куда бы ни шла, ты только меня не покинь. И на любой дороге. Бескрайней дороге.

Я хочу слышать твой голос.

И видеть твой образ.

Аминь.

В каждом вздохе

В звон травы в детских пальцах твоих,
мне приснилось, что ты в них,
в этих странах без концов и начал,
без причалов, границ и условий труда.

Мне приснилось, что ты по ночам,
как монета о кафель, стушишь
и за стенкой будишь детей.

И чаек крикливых гул оглушает
тебя под утро, а вода – через край,
как по нотам и как по ножам.

Закрываешь глаза, раздеваясь дотла,
в самолетное кресло впиваясь зубами,
что везет как угодно и только туда.

На сухом берегу море пляшет канкан,
губами ревнивых волн измеряя
шелк волос и твой стан.

На берегу мне приснилось, что я стою
и жду тебя там. И в моих руках все,
что ты сможешь взять от мира.

А мне – крещеный ребенок,
на лбу – мирра.

И твоих шагов звон в каждое утро,
под плеск волн и слов – как в мае цветы,
но не на гроб, а в путь,

в котором смех из детского рта,
и под босыми ногами – трава.

А я...

Я с тобой,

в каждом вздохе,

жива.

Рай

Слепое утро обойму памяти в фарфоровый пласт плеч.
Я бы хотела лечь на пыльном полу, собирать губами
остатки твоих встреч с мной, волосы стричь – короче
или длинней, отрезки путей пройти, на улицах
бесконечных,
как вены, дороги машин, все это руками ближе к себе.
Прижечь рубец раскаленным металлом, выше взлететь,
тонуть в море по горло, в котором каждый оттенок пахнет
домом и хлебом. И вот на парашюте стоишь босыми
ногами,
ты давишь узоры тротуаров, спешишь успеть. В эфир
суешь ладонь,
а воздух давит на больное чувство реальности, словно
кто-то
большой кидает на тебя взгляд, а ночью уже раздевает
дотла,
выгорая рядом. И долбаный вечер пахнет Москвой
в середине
мая. С тобой – раем. Облезлым чувством, как будто бы я,
слепая, бегу зимой по дороге в чулках и кедах, и мне
пять лет,
и каждая косточка в два раза короче, а платья длинней.
А в форточке утром – прямые дороги и воздух,
и ощущение шелка
внутри. Принцесса – пять лет, косые глаза, чужая страна

и странный

картавый язык. Распахнутый низ. Я помню каждый свой этот каприз.

Трава под ногами, и на лопатках – родинки врозь.
Взгляды – ввысь.

И ставни квартир – словно пустой приморский пирс.

Я бы хотела любой ценой твой вкус смешивать,
скашивать время,

чтобы тянулось дольше, чем край небес. Любой
смешной жест

забирать себе и лелеять тысячи лет. Тишину островов
в глубине морей, и по кускам под нами узоры стран,
а из окна под утро – узоры рек. Длину домов, широту
дорог

и, может, еще высоту небес. Даже обрывов бездонных –
край.

В любом метре любой земли
с тобою мне – рай.

Свежесть

И тут все зелено кругом – и люди, и небо. И за окошком март хмурый, как гребень волны в океане. Платье износиться в пыль, и я останусь стоять на проспекте, греться и по углам собирать правду. А ты все звал, но не плыл навстречу не дюймою пальца, длиной пялец судьба заигралась и сплела паутиновый холод. В буднях, которые насквозь пробиты щебнем дорог, километраж на руле в цифрах отмечен.

А им – в тайне от Бога – самим ловить эту боль и сокращаться.

А там все зелено – поля и мысли, только в подъезде звон ключей будит под утро, всплеск эйфории и нерожденный твой сын, которому я бы варила кашу и ложкой большой в детский рот по нотам пихала бы мир – непонятный, но все же живой. И если стоять на пороге и не дышать совсем,

кажется, перестаешь чувствовать свежесть травы в носу оскоминой из детства с легким пушком и в старушечьем платье

об заклад; знаешь, где бы нас ни забыли, всегда есть одно место —

апрель в широте дорог.

И как тут зелено – звонкие вопли – над головой белые чайки,
ну а внутри словно тихо, словно на кухне мраморной чайник
с жарой последнего лета внутри. Ты представь, как только пахнет
это последнее лето мира, и мы гуляем до пирса – вечером там
такой ветер, что умираешь при каждом вздохе, взвод легких,
словно затвора, и с осокой длинной в твои прозрачные – будто
графины на юбилей – пальцы.

И в нас все зелено – от волос до душ, а на коже – верста за верстой
ломоть несмытых следов; можно не ждать или ждать совсем,
только бы дрогнула тетива волос твоих, выходя на пирсе из волн,
где твоя нерожденная дочь каждый день, засыпая в сети простыней,
на подоконник кладет венок из осколков и самых честных моих слов,
и молится Богу, прося: «Спи крепче, я буду всегда твоей», – с миррой
из зеленых, как волны, глаз. Ты не придешь, а зря, в круглом раю Бог
уже воздвиг монумент из лучших мгновений твоих,

и там, знаешь,
так тепло, как изо рта в рот в детстве конфету давать.
И слишком ярко от пышности дней и от звона цветов —
очень свежо.

Когда появилась ты

Когда появилась ты – я выжил. С крыш доносился шум птичий, я слышал, как годы плыли мимо лица, слепца делая счастливее, но не зорче. То же самое чувство и воздух дрожал рядом с висками, обрываясь на короткие паузы в пространстве, латая дыры в обшивке, но я выжил. Когда появилась ты, утро запахло летом, а ветер смыслом. Все несло рядом, локтем толкая в спину, но не ближе чем на дюйм пальца, и появилась ты на горизонте, вынимая легким движеньем взгляда меня из диапазона смерти; ты не знала, но каждый вечер, не уступая, клала в кровать, накрывала, целовала в лоб нежно, как мать сына; тебя не было рядом, но градом сыпалось все со стен и неба, когда я один знал, что ты не рядом, но много глубже.

В лужах сыростью пахло и маем, край подкрался сзади и душил, зажимая веру, а утром в старом дворе я кормил стаи, тая от томного звука весны; и пахло раем, хлебом, холодным московским ветром, и знаю, что где-то вечно ты засыпала под вечер и что там – Бог видит – светлее и проще, поля зеленей, гуще рощи деревьев. Когда появилась ты – я вышел к свету, в сторону жизни брести шагами тише, но дальше и точно в сторону жизни.

Я рос. Менял мысли и стрижки. За окном распахнутый мир манил к себе пальцем. Я шел на встречу с миром и знал,

что вовсе не страшно и фронт любой в этом мире войн для меня обозначен алым, черным флагом твоих смуглых кос. Знаешь, ближе к рассвету город совсем другой. Я просыпался так рано, что вой собак еще стихать не успевал. Я шел и видел разные лица, кастеты, спицы в спинах вместо хребтов, волны видел, над головой – птицы. Ты знаешь, я проснулся так рано и еще с порога почувствовал запах веры, самый сильный запал, в день, когда стали длиннее минуты и мир слепой ослеп еще хлеще от своей чистоты. А я... я выжил, когда появилась ты.

К маме

О чем расскажет она, когда мне исполнится тридцать.
Придет и сядет. Стул напротив. Деревянные ножки,
кривая спинка.

Мама, за окном – май. И внутри май. Только сказать
нечего.

Храм у фундамента постарел, постарели дворы, умерли
люди.

Боже, сколько прелюдий в каждом их вздохе. А для нас –
все в цветах.

И ты приходи, днем или ночью, стучись в дверь, я открою
точно.

Буду, быть может, лучше. Точнее – точеной. А лучше –
только с тобой.

О чем ты расскажешь, мама, когда стены храма начнут
осыпаться.

Когда этот бойкий город вдруг станет душным, не хватит
места

и асфальт – весь в зеркальных лужах. Слушай, ведь
жизнь, по сути,

один затяжной прыжок в май душный. Еще – сплошные
раны.

Странно. Вот на кухне ты ставишь цветы в стакан
граненый. Не плачь о людях,
их Бог рассудит. С безудержным смехом,

эхом от стен домов.

А ты дай мне обет, что не уйдешь рано.

Соседям скажи, пусть нас никогда не будят.

И за окном песней рассвет сонный.

Потому что вдруг если,

мир неполный

без тебя будет.

Летний озноб

Летний озноб. И в росе – пальцы ног.
Мы бежали навстречу. По встречной,
но вдоль дорог.

Пыль с облаков. И в цветах – пальцы рук.
Мы летели, как птицы. Нас где-то ждут.
А мы не спешим,
и стоя, оскал души оголяя перед тобой,
мне Бог простит.
И все расскажет морской прибой.

Память нельзя отнять

И как ползет вверх прохладой минут, словно на ровное
разделяет,
и выносит на поверхность греться лопатками к солнцу,
загорелой
душой с морем наперевес, помнишь ты? Как падали вниз
слова
и травы у окна под домом несбывшихся надежд,
неоправданных встреч,
и в какой-то миг воздух дрожит и обрывается рядом,
и кажется, все
сходится в единой точке мостов, а это просто среди ночи
бетон
темноты за окном скрипит, и кто-то близкий теперь
связкой ключей
гремит и обнимает, засыпая ближе, чем мог ты, но тебя
не было здесь,
а был ты там; помню я каждый твой финт и радость людей
в твой
детский рот ложкой дегтя на порчу метров, и что в городе
твоим зеленой
поле цветов, а дом стоит на холмах, шатаюсь по сторонам,
и вот обрываются
внизу провода, и, не дойдя до дома, кто-то в лифте
встречает рассвет,
и что от этого не легче ни на дюйм, но отчего-то ближе

и смелей.

И смотрит вдаль, томно закатывая к северу ладони
и погружаясь дважды
туда, куда так мечталось упасть с концами вдоль границ
и безграничной
уснуть между рук, в белых майках, с простреленным
одиноким лбом;
я не мешаю тебе, но смешиваю внутри невероятный хлам,
смещаясь к югу
истин и правд, на круглой земле, чтобы нам на подносе
ни давали на
завтрак; память нельзя отнять так просто, как свободу
выбора и совесть
жить важным, а не святым; и если даже этот самый
жгучий грех прорастает
внутри, гарантий нет, что когда-нибудь что-то станет
иначе, перевернувшись
в воду с высоты верной самой веры и не дойдя до дна
никаким углом.

Я – здесь

Я – здесь.

Я – где звезды, на блюде небесном готовые бисер
иллюзий разжечь.

Где сумрак – в пыли искупались пороги и чаек
пространная дикая речь.

Я – здесь.

Я – где утро, кудрявые кроны и своры гудящих
сверчковых комет.

Где солнце – от стареньких штор оконце небрежно
к обеду избавит сосед.

Я – здесь.

Я – где полдень, в цветении суток, в кипении сотен
молящихся рук.

Я – здесь.

Я – где полночь и сомкнуты веки в шумящих потоках
разбуженных лет.

Я – здесь, где прощаются память и души.

Здесь, где окончится мой светлый век.

Бессмертие

Твое голубое белье под тяжестью ткани. Брань из форточек. Ты на корточках слушаешь Курта. В перекрестках. Фасадах стен цветет душное лето.

Мы согреты, и из наших ртов вылетают ответы на все вопросы всего мира. Без звука. За окнами душно. Темнеет поздно. Постой немного в такой позе.

Бог рисует с тебя натуру. Под утро, когда ты устала, я рассказала богу, что совершенство в немногом.

И этот воздух между нами – вовсе не воздух. А остров свободы.

Я бы тебя спасала, если бы мы тонули, если бы падали вниз.

С карнизов мира немymi птенцами. Я бы тебя спасала.

Вечер. Плечи сгорели. Твои. Лямки на платье сползли до земли. До экватора тела. Ложись и спи, чтобы вниз полетела

вся истина мира. А я поднимаюсь с колен. Взгляд бросаю на север,

фасады стен. Твою шею. Ты греешь меня своими словами.

Смотри. Все зацветает внутри. Трава на асфальте. Морская пена.

Прости, но сегодня твое голубое белье мне стало священной Эдема.

И вся правда мира так эфемерна.
Когда ты спишь на моих руках,
мне кажется, я бессмертна.

Олимп жизни

Я поднимаю себе
выше планку, крыши домов, траекторию взгляда. Я
прощаю себя
за боль и за все, что казалось раем. Я снимаю призму
с глаз, одежду —
с нутра, чтобы идти туда, где маленький мальчик
на пороге за меня
подставляет спину пулям и смерти. И не боится. Сколько
лезвий нужно
узнать на вкус, чтобы понять, что в ножах нет правды.
Время забилося в угол
дальний – меня не ломает, но ломит тело косточкой
каждой. И только вода чище
и зеленой в море под нашим миром, с миррой соленой
на лбу.

Я поднимаю себе
бокал – за лучшее все, что было когда-то во мне. С точки
зрения жизни все лучшее
в ней есть повод поднять бокал. Я разбиваюсь, как порох
ломкий, о плечи тех, кто дорог
пока, и там, где кончится эта суть, всегда начнется другая.
Я знаю – тут было все,
и в позвонках всегда остаются гвозди сомнений.
На память – лето восьмого года

и счастье жить чище. А он, в кого я так редко верю,
спасет, в дом на зеленый, как море,
холм принесет и оставит под дверью спать тонким
смыслом. И тише там. И точно светлее.
Там, где твой дом, – мое спасенье.

Я поднимаю себе
суть к горлу. И задыхаюсь под утро в вине и масле.
На грудь медом дальний остров,
который не видно отсюда, снизу. В подолах платья мир
новый, огромный, и ты будешь
ждать вечность, словно одно мгновенье. Это море в тебе
дует на горизонт пылью,
основы ломаются. Ты у истоков стоишь – волосы ветром
растреплет.
И лишнее оставит за порогом, а все, что поднимала в себе
на Олимп жизни,
меня донесет на коленях теплых и рядом положит. Пока
в идеальном этом мире
ты на самом краю обрыва во сне тихо сопишь.

Океаны

А океаны.
Слова и страны.
Все подо мной крепкой лозой
и лентой из льна
сплелось и в волосах
застыло ветром.

А океаны.
Словно капканы,
ловкие души душат
в сетях безграничной свободы
быть собою.

А океаны.
Нутро все в ранах,
а по дорожкам вен
в свой безумный плен
уже двинулся караван,
предвкушая конец
путей.

А океаны.
Сплошная нирвана
на каждом вдохе и выходе
рьяно травами и цветами.

Плетут причалы
на твоих щеках
для моих рук
и губ.

К Нате

Ее грубые скулы и черные волосы. Бледность шеи.
В осанке – какая-то дивная подлость. Она старше меня.
Мне пятнадцать. Ей почти двадцать. Но по-детски
скользят глаза. И сутулятся плечи. Был темный вечер.
Какой-то особенный вечер. Летний воздух. Она оголила
предплечья. От зноя. Хотя было прохладно.

Ладно.

Мы сидели на тротуарах до ночи. Она говорила много.
Все больше о главном. О главах нашей любви, и плавно
ее голос переходил в звон ветра. Необходимо было
перестать друг от друга прятаться. Она говорила, что,
засыпая, не молится. Я вторила ей, хоть и молилась.
Она мне божилась, что не может не думать, что
прожужжала
все уши маме. А я плакала по ночам, представляла, что
обнимаю
и прижимаю к груди ее темные волосы. Голосом тонким
шепчу ей
прелести. С именем нежным. С ее томным заснеженным
запахом
у кромки пульса на шее. Грешнее и дальше мы уходили
от темы.
Она скучала. Клялась, что не боится каяться после, что
не боится
друзей, сокурсников. Пусть даже все они будут в курсе.

Что жалко немного маму. А впрочем, к черту всю эту драму.

Есть же вещи важнее условностей. На лице ее не было скромности.

В этот миг.

Словно гулкий крик, я отвечала ей чем-то схожим.

Сказала,

что наши судьбы похожи (хоть это было не так). Что брошу

школу, брошу мечту и, если надо, к черту пошлю сам ад.

Лишь бы дольше смотреть на ее кожу в этой темной ложе под небом.

В ее прихожей. И в лифте ее подъезда. И, может быть, даже

в родительском кресле ее квартиры. Ее голос немел. Она мнила

себя все ближе.

Хотя уже ровно три месяца вряд ли мне кто-то был ближе.

Быть может, она это знала. Звала меня ласково, словно искала

в словах поддержку чувствам. Густо краснели губы.

Ее или мои. Не помню. Все покатилося вниз.

От тротуаров до знаний

школьных. Я не могла держаться. Ее тоже с земли сдувало каким-то

порывом. Все выше и выше. Нас уносило. По крышам мурлыкали кошки.

Она сказала, что шелк ее блузки сдавил ей ребра. Я

засмеялась.

Лен сарафана мне был тяжелее стекла. Тяжелей серебра ее локонов

на моих запястьях. К счастью, я забыла убрать руки. Она не заметила.

Может, от скуки. Хоть и бывала резвой по будням. Еще прежде.

Даже когда со мной была исключительно трезвой. В любом случае ей было тяжело дышать. Глотать воздух, словно лаву. Хотя там висела прохлада.

Ладно.

Она улыбнулась игриво. Грива волос скатилась мне в пальцы. Я засмеялась.

И скальпелем рук полоснула ей кожу лопаток. Мы падали дальше. И не боялись паденья. Ее голос тонул в звоне тела. Она не стерпела. Я не стерпела.

И на асфальте волнами страсти нас растоптало неведомой масти чувство.

То ли одежда, то ли мягкая кожа. Все окружило нас в этой ложе. И стало

центром пространства. От жарких стран до границ Вселенной. Мы были центром.

Живым эпицентром неведомой силы. Она была милой. Лучшей. В луже волос.

В миллиметрах плоти. Ее кости были короче. А юбка моей длиннее.

Она улыбалась. Клялась. Вертелась. Ее нежное тело

в моих ладонях кипело.

Ее снежный запах заполнил воздух. Заполнил пространство легких.

Я задохнулась, сглотнула с губ сгустки крови. И я... я родилась снова.

* * *

Она истерично смеялась и собирала в округе кусочки блузки. Проклятого шелка, что душит ей колко ребра, когда она любит. Она почти ничего не сказала, а я почти не хотела сказать. Она убежала так быстро, что ее я не успела назвать своей.

Только ее темный волос. Ее томный голос остался со мной, как и всегда.

В рассветном блеске пустого Спасского тупика.

* * *

Позже она звонила и, кажется, истерила. Искала меня у знакомых. Грубила моим подругам. Носилась по кругу. Искала причала. Кричала. Писала. Просила о встрече. Но все, что осталось на сердце, – тот бешеный вечер. То ясное утро. Глупо. Я знаю. Глупо. Мне было так жутко. Словно безумная мука – в памяти ее руки. Ее грубые скулы. Темные волосы.

В осанке какая-то дивная подлость...

* * *

Прости меня, Ната, что было так грубо. Я была юной.
И мне хотелось свободы.

Полета. Хотелось быть разной. Вязкой. Со всеми
ласковой. Влюблять и влюбляться.

Хотелось странных, сказочных женщин. Встреч вечных
или не очень. Лета хотелось.

И ветра. И ссадин. Боев. Но только не снега, того, что
в тебе до краев.

* * *

Ната.

Мы не уедем в Бруклин.

Как я обещала.

Как ты обещала.

Мы с тобой не уедем в Бруклин.

Но я тебя никогда не забуду.

Нет, не забуду.

Ты

Ты – синоним любви, которая клялась быть отверженной и не обманула. Сколько на планете извержений ежедневно

скрежетом вулкана капают на простыни, словно рана на теле гордости каждого человечка в масштабе человечества.

А ты – остров детства в скоротечной вечности, открытый мной

посреди океана гостиной нашего дома с запахом пыльной рутины

будней. Кто-то просто живет, ест, спит и дышит, а мы плывем

на огромном судне мечты, где суть – не очерниться, в трюмах

времени не поскользнуться об острия обид, о перила лестниц,

ведущих к свободе, которая есть монолит из любви на эшафоте

жизни.

Ты – слышимый звук по холсту скользящей кисти из образов

и восприятий. Ты просто уснул, а над твоей кроватью, над потолком над кроватью, над скошенной крышей дома,

в котором ты спишь, зацветают стаи синих ночных фиалок
из поцелуев и слов. Ярок их аромат, но не ярче того света, что ближе к рассвету льется из окон нашего дома со скошенной крышей, где ты спишь.

А я не сплю. И жду твоего пробужденья. Прихода.
Звонка в закрытые двери, каждого слова, каждой минуты,
когда, падая в теплые руки, я больше не жалкий кусок материй,
а новый синоним любви. Которая так истошно клялась стать
просто безбожной пьесой эмоций и зова плоти. Канат из боли
покрепче на шеях наших стянула, но, к счастью, по-детски ошиблась.

На радость обоим
нас
обманула.

Бог 1

На крыльце старого дома
сидел малыш и смотрел на цветы
в долине.

Цветы распускались и увядали,
цветы пахли раем и небом.

Малыш возвращался домой,
где мама пекла пирог.

Он уплетал куски и смотрел сквозь
призму оконного стекла на синие звезды.

Звезды падали и загорались,
разливая по долине невесомое серебро.

Малыш засыпал в своей постели
и слушал, как летний ветер треплет
лен занавесок.

Занавески вздымались и опускались на подоконник.
Малыш спал и видел во сне Бога.

Руки Бога были из стекла, а глаза наполнены светом.

Малыш вырос и забыл о Боге.

А Бог каждый вечер приносил на крыльцо старого дома
живые цветы и ждал, что однажды
малыш снова поверит в их красоту.

Лета звон

И если отзвенело во мне лето восьмого года, и жизнь
встала
на край, качая головой по сторонам и валясь с ног,
поздней ночью приползала в квартиру, дрожа и смеясь.
На полу судьба отмечала крах всего святого, как море
о кафель,
ручьём билось по вискам, сдувая с планеты все это;
а если память жива, как день, как яркость огней, то
незачем даже жевать и реветь, отзвенело все в тебе
дрождью
каких-то фланелевых дней, что качает эта смешная
планета
в ладошках, и сквозняки, проплывая мимо ушей, свистят
об обратном.
Но если так душно в гортани, что с головой ныряешь
в пустырник,
зарываешься глубже по пояс, как парус, будто каждый
изгиб воспален
живым и горьким, и на разрывах изъяны наружу, но если
выполаскивать нечем грехи из простыней и просто
грехов больше,
чем веры, напролом зажжет веру, и зароет глубже,
и не проснется смертью, и не посмеет жить сном.

Бабушка и принцесса

И на шее воском полоска памяти, запахом клубники поутру из ее рук шершавостью времени ускользает, чтобы ближе к полудню жизни приносила к порогу мертвых птиц и в неизбежности у меня начинало биться сильнее сердце, под звон ключей в последних пятнадцати шагах до ее дома, до ее светлого окна, в мире, где есть только мы ночью и есть русалки в болоте, про которых все врут, а она не врала.

И под ноги песком из разных морей, запахом вереска на молочной груди спать вечность, два срока, и лен занавесок на кухне судьбы с вышитыми цветами прозрачных оттенков, которые хлопотливо ее руками навсегда гравировует в мое нутро каждое утро июля.

И блеск неизвестности вечером к чаю, образом алого света на горизонте будней, образом Господа Бога с обеденным хлебом заедать истину, и на столе после оставлять крошки теплого цвета, и, застывая в проеме, слышать, как шуршит по полу краями подолов и тоже скучает по дому, который так далеко, и не вернуть больше ее дома

на эту большую Землю, когда все, что любила,
перевернулось где-то из глиняного сосуда в свежесть
дней на другой стороне.

И, выдыхая запахом клубники глубже в себя,
ртом искать для нее кислород в резерве
на сто тысяч лет, чтобы вечность подряд слышать
ее голос из глубин странной жизни, которой
больше, кажется, нет, чтобы образом Бога
чувствовать каждый шаг в ее молитвах мне на ночь
и лучше всех на этой большой Земле знать про счастье,
про которое все врут,
а она не врала.

** Я люблю тебя, бабушка.*

И больше даже, чем русалки – свое болото.

Твоя принцесса.

Бог 2

Я любила, когда
в теплый майский полдень
после изрядного веселья,
и загруженных дорог,
и пыльного асфальта,
и глупых школьниц,
и опрятных бизнесменов,
и прелестных леди,
и огромных штрафов,
и дымных пабов,
и цветных витрин,
и безликих светофоров,
и смешных голубей,
и запутанных проводов
ко мне заходил Бог
и мы хлебали Jameson из горла.
Он был смешной и пьяный,
и хохотал вслух,
и рассказывал мне о море,
и о доме,
и как круто ему пел Пресли,
и как сладок на вкус виноград из Эдема,
и что слаще него только груди Хепберн.
А я слушала-слушала
и думала, что с Богом, конечно,

мило,
но с тобой
в пару раз
круче.

Воронка

Словно мертвая рыба на берегах асфальта в московской пыли. Ты хлопала крыльями с тонкими перепонками, телом и чувствами наизнанку, мягкими для падений, бдений, воплей. И копны волос на моих рукавах под утро вянут ярким вереском. Глупо было отпускать тебя ночью одну на улицу, но еще глупее держать подле себя все эти годы, надеясь исцелить рану, разгладить горе белыми воротничками на твоём платье.

Слепые платят дважды. Я плачу дважды и плачу над твоим телом сухой рыбы, которое ни вдохнуть, ни выпить. Глыбы льда на шпиле ползут до неба, а мы остаемся здесь, в скверах. Московской пыли не хватит, чтобы жить хорошо или хотя бы долго. И колко так чувствовать себя эпицентром немой трагедии между двух пустых улиц. Между одним берегом и другим берегом. Между двумя берегами несуществующей правды. И не пугать прохожих оголенными сердцами в груди, и не ложиться им под ноги, и не топтать ногами самим.

Милая. Нет, грубая. Это ругательство вовсе тебе не к лицу. Эта смерть тихая. На моих руках выгнутых. Вдох и выход. И ты плывешь дальше до неба, и с головой – боевым стягом. Проигрывать войны, исход которых, как и прежде, зависит от прогнозов погоды, от чьих-то «да», сказанных вовремя, от чьих-то «нет», унесенных с собой в сырую могилу

из фиалок и морского песка.

Так больно чувствовать себя эпицентром в мире, раздробленном на периферии, на невозможность быть единым целым в темных стенах города, который так крепко впитался в землю, впился корнями в фундаменты рек и устья домов. В городе, под сердцем которого выстроим стену, украсив ее цветами наших тел, сплетенных заживо. С кронами и крылатой листвой тополей. Из уст самых влюбленных в нее людей. И ты, моя рыба, спи крепко в руках теплых, слепыми глазами уставившись в сторону храма. Я сохраню твое мертвое тело, сухие вены.

Я сохраню наш эпицентр, живую воронку в пустом сквере ночью на улице N-ой. Воронку из нас. Из тебя и меня. Меня и тебя, сшитых вместе по швам одной крепкой нитью. Кожа в кожу.

Воронка, в которую мы попали
и не нашли в себе силы
не возвращаться больше.

Кармен

Кармен, ты у меня в горле избытком воды и меда,
дыма, снега; перевернись в постели, носом к стенке.
Мои ломки, полуживые шизы, что мне снится, Кармен?
Я лелею твои оскомины, крошится небо по швам,
Кармен.
Не больно падать животом в море, разбиваться
вдребезги,
на кусочки рваные, на горькое лето. Мой
обдолбанный Бог
так смеялся, когда я сказала ему, что люблю тебя,
Кармен;
он чуть не умер в припадке, а потом стал птицей
и склевал
мое утреннее сердце. Под тонкой мембраной запоздалой
девственности слепые младенцы плачут по ночам,
визжат,
как больные чайки. Что это, Кармен, паника? Девочки
в клеточку
любят меня, Кармен, и целуют мои подола, грызут
соленое солнце
и по ночам нежно стонут от радости, нежности. У меня
зашкаливает
боль, и грешки водятся мелкие, как рыба в пруду –
сколькие и мерзкие,
как змей в Эдемском саду на дереве говорит с Евой,

а потом я умру,
все равно чистая и молодая, и, может, даже свободная.
Плачь,
кричи, Кармен, я тебя не забуду девочка, там в космосе
ледяном, море мокром, небе нежном. Кармен, я во всех
наших снах на исходе задыхаюсь, заплетая в косы красное
солнце.

Кармен, останься, Бог спляшет для нас сальсу, и мы
будем долго смеяться,
глупыми чайками, промокнув в вине и море, разбивать
головы о бордюры.

Больше никем

О том, что продано без наличных, не напишут в газетах утром строгим пунктиром на коже ошалевшего мая. Лови мои поручни прочными веками, глотая на выходе горькой таблеткой странное солнце с красными косами в соломе из битых яблок. Это не так, а как – я и не помню, *больше никем*, не научилась в садах под сизым морем греть между ребер чаек – птиц убитых и выживающих. Чтобы в других садах висеть сердцами наизнанку, где женщины в алом сомбре-ро поют на износ по ночам на ушко своим принцам, молятся, вопят и проклинаят тартар в глубинах тела. *Больше никем* не найдено на побережье левом нежным островом, томным чувством в глубине живота мое вечное к тебе изуродованное самбо. *Больше никем* не станцовано на стоптанных порогах, а ветер в окно дует на просвет и мешает внутри лето'08 + холодные брызги какого-то моря. Верным скальпелем полощет брюхо, выстилая под ноги мосты из грязных простыней, а волны на талых спинах несут хромой известью, чтобы у самой кромочки пульса ударяться о берег и неспешно шептать заветные «*больше никем*».

Однажды

Когда девочки в клетчатых юбках сыграют
в классики у меня под окном.

Когда я первый раз в жизни
напьюсь дешевой водки.

Когда я в полдень потеряюсь
в шумном Милане.

Когда я научусь говорить
по-английски.

Когда я босиком пробегусь
по мокрой Москве.

Когда я потеряю парочку самых
нужных людей.

Когда я впервые не забуду ключи
от дома.

Когда издохнет моя
старая кошка.

Когда научусь уходить
не хлопая дверью.

Вот тогда

я проснусь однажды утром

20 июля 07 года

и пойму,

что именно ты,

и что, похоже, навсегда,

и что теперь безвозвратно,

и абсолютно плевать
на кого-то
кроме.

Цветы

Эти цветы в вазе на кухонном столе в чужом доме с видом на католическую часовню, где по выходным юные музыканты торчат под басы, а дети бегают по аллее и не взрослеют. И рвут с клумб своих жизней новые цветы возможностей, забывая поставить их в тонкую вазу из граненого стекла. В этом доме пахнет воскресным десертом, и чужая женщина готовит на плите в фартуке из льна с розами и ромашками и напевает под нос мелодию своей весны. Эта женщина – твоя свобода, а этот дом – твой дом. И он стоит с обратной стороны океана, и его обдувает другой на вкус ветер. Я знаю, что ты выходишь под утро и бредешь по этой аллее, чтобы на миг почувствовать себя ребенком, у которого под окном цветет целая клумба пышных пионов. Ты знаешь, куда свернуть и как обойти перекресток. И где купить хлеба на ужин. Ты идешь, и в твоем воздухе, и на стенах твоего дома зацветают они. Неземных оттенков. И ты совершенен, когда берешь их губами и проносишь к порогу верной бродягой. Эти цветы никогда не завянут, пока на обратной стороне мира есть дом с пустой вазой и верой в их силу. Эти цветы никогда не завянут. Я верю в них. И пусть они цветут в твоём доме для всех, кого ты любишь. И для тебя.

Я не умру

Я не умру – яблоком круглым упаду с ветки,
на последнюю шлюпку к раю не опоздаю,
чтобы хромой и грязной приползти к истине,
за которую умирать не страшно, но так страшно жить.

Я не умру – ломаные гнутся во все стороны света,
и с точки зрения нашей седой планеты
проще отключать на одной половине солнце,
пусть даже на полсуток, другой половиной —
лицом к стеклу и людям – улыбаться и не думать.

Я не умру – это не слишком просто, когда за спиной
сплошная правда и тяга рыть глубже, чем смотрят
глаза и трогают руки. Потуги святых дев не нужны
небесам, а нужны слуги, верные слуги истин,
за которые умереть просто, но так сложно жить.

Я не пойду ко дну – солнцем круглым упаду тебе
на живот мягкий и буду спать так долго, что даже
кто-то в соседней койке пошлет меня к черту.

Я не пойду ко дну – во мне хватит нечистот, чтобы
всплывать на любой воде и упираться кривым носом
в тугое небо, что зажимает мне рот и нежно сует
свое дуло в горло, шепча сладким тембром:
«Эта ложка за Бога, все это в тебе за Бога».

А я не умру, хоть смех, хоть кровь из корня —
все это святое, слишком святое, чтобы так
быстро раскидать полюса по закромам

и заснуть лицом к доске, душой – к кресту.

Нет, я не умру. Пока не умру.

Смешной мир

Этот огромный,
Безумный,
смешной мир
тысячью гирь
на моих руках
на моих плечах усталых.
И только ты
звоном цветов,
простором крыла
на причале.

Я ведь приду
однажды под утро
туда.
Я обещала.

Солнце

Солнце, резкая осока плеч твоих, звон мягкий,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.